

«И это квартира профессора Нейгауза!»

<http://5.45.120.107/talks/orh-1162>

🎤 21 января 2002

Собеседник

Прохорова Вера Ивановна

Ведущий

Споров Дмитрий Борисович

Дата записи

Беседа записана 21 января 2002 и опубликована 1 ноября 2019.

Введение

В шестой беседе Вера Прохорова рассказывает о Генрихе Нейгаузе, Борисе Пастернаке и Святославе Рихтере. Родственница Веры Ивановны Милица Соколова-Бородкина была второй женой пианиста Генриха Нейгауза, поэтому Прохорова часто бывала у них дома. Она описывает характер и внешность Генриха Густавовича, образность его мышления, любовь к слову и предпочтения в живописи и музыке. Вера Ивановна вспоминает быт и царившую в доме профессора Нейгауза атмосферу, которую с трудом выдерживали домработницы. Вера Прохорова была знакома с Борисом Пастернаком и присутствовала на чтении романа «Доктор Живаго» в квартире Ардовых. Она изображает манеру речи Пастернака, читает его стихи и рассказывает о демократичном отношении и помощи поэта людям. Последняя часть беседы посвящена рассказу о дружбе со Святославом Рихтером и о последней встрече с пианистом за неделю до его смерти.

Знакомство с Генрихом Нейгаузом

Дмитрий Борисович Споров: Примерно когда вы с ним познакомились?

Вера Ивановна Прохорова: Я познакомилась с Нейгаузом в конце 36-го года. Он муж моей тети. Вторым браком он был женат на Милице Сергеевне Соколовой-Бородкиной.

Д. С.: Все понятно, я просто не понял.

В. П.: Моей тетки по отцу, по линии прохоровской, потому что мать ее была урожденная Прохорова, Варвара Ивановна, родная сестра моего деда. Ну и между семьями существовали связи, как раньше до революции, так и после революции сохранились. И уже во взрослом состоянии, сознательно очень часто стала посещать дом Нейгауза вот именно с этого года. До этого мы просто обязательно ходили на именины, на дни рождения моей тети и папиной тети (сестра его отца была, Варвара Ивановна). Вот так, собственно, состоялось более близкое знакомство. До этого я просто видела его мельком.



Милица Соколова-Бородкина (в центре), внучка владельца Трехгорной мануфактуры И. Я. Прохорова, была замужем за Генрихом Нейгаузом. Конец 1900-х гг. Из фотоархива М. В. Золотарева

Д. С.: До 36-го года?

В. П.: Да, до 36-го я видела его на концертах, в доме, да, он приходил. Вот сознательно в период уже, когда я студенткой стала. И для меня эта встреча с Генрихом Густавовичем и его учениками, и вся атмосфера дома... Он получил квартиру на Чкаловской, четырехкомнатная отдельная квартира. До этого у него были [комнаты]. Мы ходили на Молчановку все время. Общая квартира была ужасная. И он тоже жил со своими родителями, приходил... В общем, это было очень сумбурно.

Тут квартира Нейгауза как-то оформилась вот в этих годах. У Генриха Густавовича можно было разместить два рояля, это был его кабинет. Отдельно была спальня, отдельно была комната, где жила мать тети Милицы, сестра моего деда Варвара Ивановна, и родная дочь Генриха Густавовича, тоже названная Милицей в честь моей тети. Тетя Милица сначала записала ее как Варвару, а Генрих Густавович сказал: «А почему? Есть такое чудное имя Милица. Я хочу, чтобы она была такая же как ты». И имя Милица закрепилось за Милкой. Она говорит: «У меня перечеркнуты документы о рождении». В общем, такой был забавный момент.

Внешность и характер Нейгауза

Генрих Густавович производил впечатление человека, который радирует солнечную энергию. У него были синего цвета глаза. Синевы, густой синевы, вот такого летнего неба, даже не весеннего, а летнего неба.

Д. С.: Больше, чем у Елены Сергеевны?

В. П.: Да, у Елены Сергеевны скорее голубые были, а у него синие. Интенсивно синий цвет. И шапка седых уже тогда волос.

Д. С.: Седых?

В. П.: Да, Генрих Густавович посидел довольно...

Д. С.: Он рано посидел уже?

В. П.: Может быть, не совсем, но все-таки, конечно. Он блондин ведь был до этого. Для меня вот эта шапка волос его... Причем шелковистые волосы, замечательные, развевались так! Генрих Густавович — человек, который реагировал на все явления жизни моментально и очень часто просто образно. Например, я говорю: «Генрих Густавович, чай вам какой крепости налить? Крепкий, да? Крепкий вот так?» Он говорит: «Настоящий крепкий чай должен быть цвета красного дерева в лучах венецианского заката». Вот я это запомнила. Это типичный Генрих Густавович.



Генрих Густавович Нейгауз. Источник фото: Интернет-журнал «Татьянин день»

В своей преподавательской деятельности он пользовался образностью настолько естественно и широко, что для человека, совершенно не посвященного, это было ясно. Кстати, я любила очень, когда я у них бывала, слушать, как Генрих Густавович занимается с учениками. Вот рядом сижу, и он кричит: «Как играешь? Как это ты не представляешь? Это же Андалусия, а не Чернигов, черт возьми! Ты представь себе, вот эта Андалусия, эта Испания, эта раскаленная земля. Вот это солнце светит. Вот эти наряды! А ты что? Как ты играешь?» Вот, понимаешь ли.

Д. С.: Очень импульсивный был.

В. П.: Абсолютно! И перед ним всегда с музыкой связанный какой-то образ из природы, из искусства возникал. Я помню, когда он говорил о Шопене: «Как играешь? Ты подумай, ведь это песнь. Поле, женщина идет и поет, замечательный голос. Она поет». У Шопена это есть. У Шопена в произведениях всегда есть, — как Генрих Густавович говорил по-польски, — «жаль». Я говорю: «Генрих Густавович, а что это значит?» Он говорит: «Это неперебиваемое слово. Это какая-то тоска по чему-то, какая-то печаль, какая-то грустная нота».

Д. С.: Понятно, жаль.

В. П.: Жаль, не потому что кого-то жаль.

Д. С.: Ну, понятно, вот такая жаль.

В. П.: «Вот это, — говорит, — у него есть. В его полонезах есть, вообще, есть занавес. В мазурке занавес всегда открывается, занавес закрывается». Вот он как-то спонтанно абсолютно реагировал на все явления жизни. Пусть это в быту было, как я вам говорю, или вот в музыке то, что он себя всегда чувствовал. Для него вот такое ощущение природы было сильное и неразрывно связанное с музыкой. Я помню, как одному из своих учеников он объяснял, что в произведении Бетховена (боюсь сейчас соврать, назвав неправильно произведение), он говорит: «Ты понимаешь, вот здесь же у него восход солнца. Где-то заря начинается в лесу, ты понимаешь? Вот солнце восходит. Поет еще соловей. Солнце восходит, а соловей еще поет, ты понимаешь? Это лес, это природа, никаких людей. Вот ты представляешь себе?» А мальчик, молодой его талантливый ученик, он говорит: «Нет». — «Ты был когда-нибудь в лесу на рассвете?» Он говорит: «Нет». Так этот мальчик поехал в лес, переночевал и на рассвете слушал соловья. Вот настолько живо и прекрасно Генрих Густавович объяснял своим ученикам музыку.



Слева направо в первом ряду: Рудольф Баршай, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер и Андрей Волконский

У него была какая-то органическая связь с природой, с искусством. Генрих Густавович высоко ставил слово. Как раз когда с Пастернаком он говорил. «В начале все-таки было слово, — Генрих Густавович говорит, — для меня слово выше, чем музыка. В начале было слово!»

Д. С.: О как!

В. П.: Как другие говорили: «Но ведь музыка для вас выше...» Он говорит: «Это по-другому выше, но в начале было слово». То есть все должно быть осмысленно, в музыке осмысленно. Все это связано с образом каким-то, замечательным образом природы, искусства, конечно, абсолютно непосредственным, который в том или ином виде всегда появлялся перед ним.

Д. С.: Вот интересно, они все так образы представляли?

В. П.: Кто все? Нет, далеко не все. Например, вышеуказанный знакомый мой Локшин дико издевался над образностью.

Д. С.: А, ну это да.

В. П.: Он говорил, что это должно быть абсолютно абстрактно: «Видишь ли, образы какие-то он видел!» Он, например, не выносил совершенно исполнение Рихтера. А Рихтер говорит: «Как же, это даже известно, что у Бетховена в последней из сонат — ветер, весенний ветер. Пусть на кладбище, но весенний ветер веет!» — «Какой ветер, какой? Что это такое? Как это можно?»

Д. С.: Это просто человек какой-то мертвый, а вообще?

В. П.: А вот, милый, он считается замечательным композитором-абстракционистом и так далее. Локшин. Пожалуйста, можешь послушать. Он называл: «Это программная музыка». Это никакого отношения не имеет. Я помню эти высказывания.

У Генриха Густавовича я всегда просто слушала, как у него воплощалось всегда в каком-то образе, в каких-то... И он говорит: «Ты подумай, вот Италия...» Он же итальянский великолепно знал, он много путешествовал.

О семейных связях Нейгауза и Пастернака

Д. С.: А он по национальности кто?

В. П.: Генрих Густавович — польско-немецкой. Отец — немец. Мать, в общем, она Шимановская. Был композитор польский. Там более сложно, там переплетения. Отец его был музыкант, преподавший в школе в Краснодаре. Да? Краснодар, по-моему. Нет, Елисаветград, вру. В Елисаветграде была школа Нейгауза.



Генрих Нейгауз с родителями Густавом Вильгельмовичем и Ольгой Михайловной Нейгауз

Тетя Милица была дочерью предводителя дворянства Соколова-Бородкина в Елисаветграде. И ходили они там в школу. Короче говоря, знакомство с Генрихом Густавовичем с детства. Они очень дружили с ранней юности, на каток ходили. И просто влюбленность там была, и собирались пожениться. Потом революция, война. Они на долгие годы расстались, чуть ли не с 15-го года до 18-го. Я боюсь точно сказать даты. Короче говоря, Генрих Густавович был в Киеве, где он был профессором, где была тоже его ученица, его первая жена, впоследствии жена Пастернака, Зинаида Николаевна.

Д. С.: Первая жена?

В. П.: Первая жена Нейгауза — Зинаида Николаевна.

Д. С.: И первая жена Пастернака, нет?

В. П.: Нет, она была второй женой Пастернака. У Пастернака была жена, чей сын вот...

Д. С.: Евгений Борисович?

В. П.: Евгений, да. Художница она была. Это была первая жена. Он с ней развелся и женился на Зинаиде Николаевне, в которую безумно влюбился.



Борис Пастернак с первой женой Евгенией и сыном Евгением. 1927. Источник фото: pasternak-trust.org

Она была действительно очень красива, такой своеобразной красотой: очень правильные, даже тяжелые черты лица, напоминающие греческую маску, знаете, такую трагическую. Черные волосы, довольно короткая, в пол-уха стрижка, всегда черное платье, белый воротник, очень четкие черты лица, что-то очень романтическое в ней. Я спрашивала Фалька, — он знал ее хорошо, — и я говорю: «Роберт Рафаилович, у Зинаиды Николаевны ведь очень холодное лицо, неподвижное лицо маски». Он говорит: «Вы знаете, в ней была какая-то тайна всегда, которая привлекала». По сути она была очень простой, такой вот человек, очень реально стоящий на земле, но в ней эта загадочная внешность предполагала что-то другое. Ведь Пастернак ей писал:

«Красавица моя, вся статья,

Вся суть твоя мне по сердцу,

Вся хочет музыкою стать,

И вся на рифмы просится».

Такой образ Зинаиды Николаевны был у Пастернака, который безумно в нее влюбился. Надо сказать, что Зинаида Николаевна отвечала ему взаимностью. Тогда вот произошел развод с Генрихом Густавовичем, хотя у Зинаиды Николаевны было уже двое сыновей: Адриан и Станислав, Адик и Стасик. Она страшно любила старшего Адика, а младшего Стасика как-то так: «А, он с нянькой...»



Зинаида Нейгауз с сыновьями Стасиком (слева) и Адиком и родителями Генриха Нейгауза Густавом Вильгельмовичем и Ольгой Михайловной Нейгауз. 1930 г.

Когда они с Борисом Леонидовичем уехали в свадебное путешествие на Кавказ, она Стасика, младшего сына, оставила моей тете Милице, с которой она тоже была знакома по Елисаветграду. Она тоже из Елисаветграда. Тетя возилась с ним и со своим племянником, которого усыновила, поскольку его мать умерла. Она говорит: «Жара, я их купаю в бочках, они орут». Когда Зинаида Николаевна вернулась из такого свадебного путешествия, если можно так назвать, и хотела Стасика взять обратно, он сказал: «Не хочу к ней идти!» Ему было, кажется, года три: «Не хочу, она меня оставила». Конечно, потом пошел, и они воспитывались вместе. Надо сказать, Стасик всегда говорил про Бориса Леонидовича: «Он был лучший из отчимов, но все-таки он был мой отчим, а я любил отца». Но очень уважал, ценил и любил Пастернака. Конечно, тот к ним относился как к детям своим.

О поэзии Бориса Пастернака

Д. С.: А вам нравится Пастернак как поэт?

В. П.: Поэт — да, очень. Хотя для меня очень выборочно его вещи, некоторые для меня проходят совершенно как игра ума.

Д. С.: Вот игра ума.

В. П.: Да, игра ума, смешение каких-то образов.

Д. С.: У него, по-моему, все игра ума.

В. П.: Огромная метафоризация совершенно, которую нужно разгадывать. Но когда его так видишь и говоришь с ним, понимаешь, что для него это абсолютная непосредственность. Он просто видел мир сразу так: «Намокшая воробышком сиреневая ветвь». Воробышек нахохлится, действительно, тяжесть капель воды...

Д. С.: Это можно понять.

В. П.: Или когда он говорит, например, о казни Шмидта, вдруг такой образ, что их на корабле судили, и уже приговор: «Распрощавшись с ними, жизнь брела по дамбе, направляясь к людям в сонный городок»¹. По-моему, невероятный образ.

¹ «Распрощавшись с ними, жизнь брела по дамбе, удаляясь к людям в спящий городок». Из поэмы Бориса Пастернака «Лейтенант Шмидт», 1926 г.

Д. С.: Да, образы, но у него вся поэзия от ума.

В. П.: Нет-нет, очень много от сердца, у него это непосредственное. Это впечатление, что он это создавал, вот так творил. Это вот Бродский пытается, жалкое подобие.

Д. С.: Да, вот и Пастернак.

В. П.: Сравнили! Эклектик, совершенно это... То, что Бродский вознесен на какую-то высоту, — это то, что его лишили... Правда, он даже не сидел, а был в ссылке. Почему он великий поэт? Он ничуть не выше Светлова, Симонова, Самойлова.

Д. С.: Его вообще...

В. П.: Ничуть! Это эклектик, у него нет своего! У Пастернака мысль, но она у него воплощалась в сложные для нас образы, понимаете. Когда он, например, говорит, умирая в больнице:

«О Боже, волнения слезы

Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,

Чуть падающем на кровать,

Себя и свой жребий подарком

Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,

Я чувствую рук твоих жар.

Ты держишь меня, как изделие,

И прячешь, как перстень, в футляр»².

² Из стихотворения Бориса Пастернака «В больнице», 1956 г.

Для меня невероятный образ.

Д. С.: Конечно, у него образы сильные. Интересно, как он писал?

В. П.: Слушай, ну где же от ума, когда опять его мысли, уже смерти он чувствует преображение, Спаса преображение, когда он говорит:

«Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная, как знаменье,

К себе приковывает взоры».

Это прекрасно!

Д. С.: Вот у меня маме очень нравится Пастернак.

В. П.: О, маме! Или вот это из того же стихотворения:

«Прощай, размах крыла расправленный,

Полета вольное упорство,

И образ мира, в слове явленный,

И творчество, и чудотворство»³.

³ Из стихотворения Бориса Пастернака «Август», 1953 г.

Разве это не сказано, где же тут от ума? Тут все соединено, нет. Но очень многие его стихотворения, в особенности ранние, которыми так восхищаются, для меня вот такой наплыв метафор, каких-то вот образов... Племянник мой страшно любит именно ранние его стихотворения, «Март». Для меня они сложностью своей часто не доходят до сердца. Но вот образ, я бы сказала импрессионистический, вот сухой дождь ландышей. Действительно, это сухой дождь! Ландыши же сухенькие! Или когда:

«Когда на дачах пьют вечерний чай,

Туман вздымает паруса комарьи,

И ночь, гитарой брякнув невзначай,

Туманной мглой стоит в иван-да-марье»⁴.

Представляешь? Где-то гитара, и вот пьют чай, и вот туман...

⁴ «Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комарьи,
И ночь, гитарой бражнув невзначай,
Молочной мглой стоит виван-да-марье».
Из стихотворения Бориса Пастернака «Любка», 1927 г.

Д. С.: Ну, красиво.

В. П.: Ну, что ты! Ой, или вот что у Пастернака еще есть: он иногда употребляет слова абсолютно технические, которые не знаешь. Это иногда тоже затрудняет понимание метафоры. Например, что такое гордень? Понятия не имею! Гордень⁵, как он говорит, — это морской узел!

⁵ Гордень — снасть или веревка, продернутая в блок, служащая для уборки парусов и для подъема небольших тяжестей.

Д. С.: А, да.

В. П.: Знаешь? Это морской узел. Я понятия не имею, поэтому, не зная образа, вот сила и красота его четверостишия, где он говорит, что... Ты знаешь это?

«Твое творение не орден:

Награды назначает власть.

А ты — тоски пеньковый гордень,

Паренья парусная снасть»⁶.

Ты знаешь, вот говорила я ему, что это прекрасно!

Д. С.: Это прекрасно, да.

⁶ Из стихотворения Бориса Пастернака «Все наклоненья и залогии...», 1936

В. П.: Где здесь от ума? Это именно парение! Ну, какой Бродский с его раскладочкой туда-сюда, с жалким подражанием древним поэтам, когда он пытается изобразить разговор сенаторов, когда он сенатор, патриций пишет кому-то. Господи, это такая эклектика! По-моему, он единственные искренние строчки сказал, правда, он их не вспомнил, что-то там: «На Васильевский остров я приду умирать...» Вот это у него довольно искренне, но он почему-то предпочел Венецию, где-то увековечить свое имя на венецианском кладбище. Нет, это совершенно надуманная фигура, раздутая абсолютно нашей интеллигенцией.

Д. С.: Раздутая, да.

В. П.: Для меня так.

Общение с Пастернаком

Д. С.: Вера Ивановна, а вы Пастернака так не?..

В. П.: Знала я Пастернака.

Д. С.: Да?

В. П.: Я очень счастлива была его знать. Он был же ближайший друг Генриха Густавовича.

Д. С.: Да?

В. П.: Да. Конечно, я его не знала так, как Генриха Густавовича, потому что это было...

Д. С.: Понятно.

В. П.: Во-первых, я его видела у Генриха Густавовича и много раз...

Д. С.: Ну и какое он производил впечатление как человек?

В. П.: Потрясающее! По простоте, душевности и вот такой непосредственной... Конечно, своеобразная речь (*подражает речи Пастернака*): «Ну, вы знаете...» Вот иногда немножко подражает ему его сын.

Д. С.: Он басил, что ли?

В. П.: Да. «Вы знаете, вот очень хорошо, что вы приехали. Я думаю, вам будет интересно. Здесь будут, знаете ли, иностранные журналисты. Ведь вы же язык знаете, ведь да? Вам, пожалуй, будет интересно здесь, не правда ли?» — «Борис Леонидович, да какие мне журналисты! Мне счастье вас видеть и услышать». — «Ну, что вы! Ну нет, ну, что вы...» Да, когда я уже в дальнейшем, после лагеря в особенности... Ведь он безумно сочувствовал всем, кто сидел в лагере. Когда, значит, Генрих Густавович рассказывал...

Д. С.: Как он переписывался с Шаламовым. Для Шаламова это было спасение.

В. П.: А как же! Абсолютно! Более того, у Шаламова... А как он потом к дочери Цветаевой, ну, это понятно еще... Переписка была с Шаламовым. Шаламов уж, слава богу, злобен предельно, но он Пастернаку отдает должное.

Д. С.: Что для него были письма Пастернака, он пишет: «Для меня эти письма были воздухом просто...»

В. П.: Конечно. Вот это Борис Леонидович! Когда он умер, из деревни приходили бабки и говорили: «Так ведь он же каждый месяц на деревню ходил, Матрёне — сто рублей, всегда знал, какой-то бабке Варваре — пятьдесят, а какая-то совсем больная — двести...»

Д. С.: Помогал?

В. П.: Абсолютно! Пришли женщины проститься с ним. Они не знали даже, что он поэт: «Ну, вот такой-то ходит. Он так чудно говорит». Это был Борис Леонидович.

О клевете на Пастернака и его аполитичности

То, что вокруг имени столько клеветы омерзительной. Кстати, пользуясь случаем...

Д. С.: Не так уж и много клеветы.

В. П.: Ну да уж, миленький! Супруга этого самого, Мандельштама...

Д. С.: Надежда Яковлевна.

В. П.: Злобная женщина. Как правильно один наш знакомый сказал: «Знаете, первую книгу она написала, там есть она и Мандельштам, но во второй книге только уже она. Мандельштама уже нет, а все она». Так она совершенно нагло перевирает разговор со Сталиным, который был известен только Сталину и Борису Леонидовичу.

Д. С.: Ну как же? Борис Леонидович рассказывал о нем на каждом углу.

В. П.: Рассказывал. Я и говорю, что вот именно со слов Бориса Леонидовича! Но как переделать, как передать его интонацию. Он говорил: «Что вы можете сказать о его искусстве?» — «Ну, мы совершенно чуждых направлений, поэтому я ничего...» Так это переделано ей так: «Что вы говорите со мной, я не желаю говорить о Мандельштаме, потому что...» — это вот такую же окраску приняло.

Д. С.: Ну да, да.

В. П.: Что он отказался от этого, но это же... Что говорить? Он мог не вникать в какие-то события, но когда были какие-то приемы, а Генрих Густавович часто очень меня брал туда, потому что тетя Милица говорила: «Ах, право, нет, терпеть не могу это общество». А я говорила: «Генрих Густавович, очень рада, большое спасибо, все-таки видеть Бориса Леонидовича — это большое счастье». Зина меня как-то терпела, ничего. Надо сказать, она была замечательная хозяйка. Белоснежные скатерти, сервировка, коньяк стоит. Все это было, приемы. Значит, Борис Леонидович окружен иностранными журналистами. Зина ни одного языка не знает. Она говорит мне: «Вера, садитесь со мной, будете мне переводить. Мало ли чего он скажет». А Борис Леонидович: «Да, да...» Значит, его спрашивают: «Вы читаете газеты?» Он говорит: «Нет, вы знаете...» Он говорит по-немецки, он прекрасно говорил по-немецки, собственно, как на родном. Конечно, по-моему, и французский знал, и английский. Английский знал, во всяком случае, великолепно, потому что переводил. «Да нет, вы знаете, я как-то политикой не интересуюсь. Вот моя жена читает газеты все». Зина говорит: «Что он говорит?» Я говорю: «Зинаида Николаевна, Борис Леонидович говорит, что вы читаете газеты и его всегда информируете». — «Правильно-правильно. Я всегда слежу за событиями. Я настроена совершенно правильно! И я очень хорошо потом разговариваю с Борисом Леонидовичем! Это правильно!» Потом на эту встречу журналистов вдруг пробирается вдова Алексея Толстого, некая Людмила Ильинична.

Д. С.: Которая из?

В. П.: Конечно, просто из этих шакалов. Она была сексотка известная.

Д. С.: Какая жена-то его?

В. П.: Алексея Толстого? Вторая⁷ жена его, из его секретарш. Людмила Ильинична ее звали. Довольно красивая женщина. К тому времени уже не молодая, такая отяжелевшая. Хорошо известная тем, что то, что она говорила писателям, о чем они рассуждали, становилось известно совершенно не там, где нужно было этим писателям, чтобы это было известным. Зинаида это прекрасно знала. Когда у нее гости (они соседи по даче), вдруг Людмила, значит... Борис Леонидович сидит и говорит: «Зиночка, — она входит уже, — не бойся Людмилы Ильиничны. Она наш друг! Все будет хорошо! Зиночка, не бойся Людмилы Ильиничны!» А та так: «Ничего, садитесь. Садитесь, Людмила Ильинична! Всё это наши друзья». Вот в таком плане, но то, что он...

⁷ Людмила Ильинична Толстая была четвертой женой Алексея Николаевича Толстого.



Зинаида и Борис Пастернак. Переделкино, октябрь 1958. Источник фото: Getty Images

У него была, как выяснилось, широкая благотворительная деятельность. Причем Борис Леонидович при всей вот такой, казалось, разбросанности, которая могла бы у него быть, страшно любил порядок. Он каждый месяц не забывал, кому сколько дать, видя то или иное состояние. Он своей первой жене все время давал деньги. И когда у него гонения были, и перестали печатать, он сказал (как ее звали-то, не помню): «Я не могу вот больше тебе...» Жена сказала: «Нет-нет, Боря, я не могу, ты должен мне две тысячи каждый месяц все равно». И он как-то выворачивался, переводов наделал тогда.

Он страшно много людям помогал. Настолько, не только демократично... Для него совершенно естественно было говорить с министром или с кем, или со мной, которая не только по возрасту, но вообще, что такое я, с абсолютным участием, с таким: «А как же вы вот в лагере? Ну, подумайте, я не знал, я бы вам написал...» Причем абсолютно искренне говорил. «Борис Леонидович, да что вы!» Вот так, очень... Этот человек такого плана был совершенно.

Д. С.: Понятно.

Письмо Пастернака Сталину после смерти Аллилуевой

В. П.: И поэтому я никакой совершенно, когда говорят о Пастернаке, что он там что-то... А за скольких он заступался, сколько он писал и просил? И Сталину писал, но тот не обращал внимания. Я вам, по-моему, говорила версию, почему Пастернака не арестовали. Сталин его пощадил.

Д. С.: Нет.

В. П.: Потому что как раз в 30-е годы... В каком году умерла Аллилуева⁸?

Д. С.: Я не помню.

⁸ Надежда Сергеевна Аллилуева умерла 9 ноября 1932 года.

В. П.: Погибла она от руки любящего супруга или сама столь наслаждалась его любовью, что больше уже не захотела жить, мы не знаем. Так или иначе, она трагически умерла, умерла в одночасье. Это была внезапная смерть, и все мы тогда: «Как?!» Было сказано, кажется так, что-то от неудачной операции аппендицита, в общем, внезапная смерть...

Д. С.: Глупость какая-то.

В. П.: Борис Леонидович в это время был безумно влюблен в Зинаиду Николаевну. Это был, по-моему, их медовый месяц, они уехали. Он обожал ее. Вот то стихотворение «Красавица моя» как раз относится к тому периоду. И когда он узнал о смерти Аллилуевой... Там была фотография: красивое такое восточное лицо. Он, совершенно забывший, что такое Сталин, какой Сталин, он ему в ту же ночь написал письмо. Как он сам рассказывал смысл, я не берусь, естественно, слов Пастернака передать, смысл такой: «Иосиф Виссарионович, хотя мы находимся совершенно на разных полюсах жизни и в политике, и в жизни, и во всем, но в этот момент я всей душой с вами. Потому что я могу понять весь ужас вашего страшного горя.

Потерять прекрасную женщину, которая действительно подруга вашей жизни. Я абсолютно понимаю ужас вашего горя, и всей душой с вами...» И где-то Сталин подумал, что это единственный, наверно, человек, который поверил в это. Борис Леонидович объяснял это вот этим.

Д. С.: Да? Этим самым письмом?

В. П.: Да. Он говорил: «Я думаю, что только это...» Ведь Бухарин очень любил Пастернака, страшно хвалил. И всех тех, кого хвалил Бухарин, кстати, Бабея, еще кого-то, — они сели хоть за одно это и погибли, а Пастернака обошло.

Д. С.: Ну, надо еще сказать...

В. П.: Ну, это версия Пастернака. Он говорил: «Может быть, это письмо, потому что я тогда сразу послал...» Очевидно, сразу передали. Никакой реакции не было, но, очевидно... Представляете, с какой силой чувства было написано это письмо.

Д. С.: Да. Значит, так сказать, недоброжелатели, конечно, всегда могут сказать, что вот какой...

В. П.: Сталин-то где-то разобрался, я думаю.

Д. С.: Ну, это понятно, да. А что...

В. П.: Конечно, что он подлизаться хотел.

Д. С.: Да-да.

В. П.: А он просто... Ах, вот это Борис Леонидович, охваченный ужасом, что Зиночка тоже вот так могла бы вдруг, какой ужас! Вот он написал это письмо. Генриху Густавовичу он говорил тогда об этом прямо, непосредственно. Генрих Густавович говорит, что это действительно было страшно сильное, непосредственное: «Какой ужас! Какой ужас! Что он переживает! Он сейчас готов свою, наверно, революционную деятельность отдать, только чтобы она была жива». Вот так Генрих Густавович уже рассказывал. Может, он это и изложил в письме: «Что вся, мол, наша жизнь по сравнению с любовью...» Ну вот, такое письмо от души, наверно, талантливо, сверхталантливо написанное от души, не могло не тронуть этого, тем более что Иосиф Виссарионович кое-что понимал и в стихах, и в музыке.

Д. С.: И вообще, да?

Запись пластинки для Сталина

В. П.: И вообще. Он понимал, как же. Юдину-то он, помните, когда он ночью услышал по тарелке радио: «Кто Моцарта играет?» — велел узнать. Юдина. Он заказал пластинку. На другой день она была готова.

Д. С.: Кажется, эта пластинка лежала на граммофоне у него в день смерти.

В. П.: Да? Ну, может быть. И он послал ей какую-то огромную сумму. Причем она написала ему письмо.

Д. С.: Да. «Иосиф Виссарионович, я на церковь...»

В. П.: «На церковь, чтобы молились за вашу грешную душу».

Д. С.: «Я буду молиться, чтобы Бог вас простил». Как-то так, да?

В. П.: Да, что-то так. И это письмо ее умоляли не посылать, но она сама отнесла его, опустила где-то в Кремле. Все ждали, что ее, но ее не тронули. Где-то что-то Иосиф Виссарионович понимал, понимаешь.

Д. С.: Ну да.

В. П.: Вот эта пластинка, видишь, его значит... Он музыкальный был, он же пел в своей семинарии-то.

Д. С.: Это давайте мы закончим. Вот на тех, кто остался, кого не арестовали, кто был из этой плеяды, вот такие были там: Грабарь, Пастернак. На них на всех сейчас смотрят так вот... Именно почему — потому что остались. А кто виноват, что остались, спрашивается.

В. П.: Слушай, ведь он же писал тогда стихи, читал их в этом...

Д. С.: Была какая-то, да.

В. П.: «Душа моя, печальница

О всех в кругу моем,

Ты стала усыпальницей

Замученных живьем.

Их трупы бальзамируя⁹,

Им посвящая стих,

Рыдающею лирою

Оплакивая их...»

⁹ «Тела их бальзамируя»
Из стихотворения Бориса Пастернака «Душа», 1956 г.

Писал, его могли арестовать в любой момент за эти строки.

Д. С.: Это-то понятно.

В. П.: Ну так что же уж говорить? А теперь — почему выжил...

Д. С.: Да.

В. П.: Почему? Значит, наверное, так. Значит, отказался от Мандельштама. Вот такую мерзость, — нет.

О союзе своей тети с Нейгаузом

Д. С.: Ну, ладно, это мы закроем. Все-таки надо вернуться к Нейгаузу.

В. П.: Ладно, оставим! Нейгауз, что вам еще сказать? Не могу не сказать об удивительном союзе его с моей тетей, которая отличалась невероятной жизнерадостностью и всегда не только доброжелательной, но такой светлой реакцией даже на всякие какие-то ошибки Генриха Густавовича, на его увлечения абсолютно: «Ах, Гарри, опять ты увлекся! Ах, Гарри!» И что Гарри ни сделает — замечательно! Причем это было настолько непосредственно и искренне, лишено какого-нибудь типа страданий. Я говорю, что Генрих Густавович, смеясь, говорил: «Ой, пытался от нее скрывать, да все равно безнадежно! Все знает и смеется!»

Только она умела как-то Генриха Густавовича из самого... Генрих Густавович поддавался настроению очень. И если там критика какая-то, или его бесило что-то, он приходил мрачный совершенно. Тетя Милица: «Ах, Гарри!» — «Опять ты хочешь на меня надеть розовые очки?» — «Ах, Гарри, ну какие очки? Слушай, там блинчики! Ты же любишь блинчики с варением?» — «Люблю». — «Отлично! Слушай, давай!..» И вот она начинает: «А ты знаешь, Толя изумительно сегодня играл, он приходил репетировать». Это Толя Ведерников. А Слава жил даже у них. «Слава, ты понимаешь, ты на него не сердись. Он все время играл, поэтому он историю КПСС не учил, ты не сердись!» — а Слава уже спрятался под рояль. «Слава, выходи из-под рояля!» Значит, Генрих Густавович его целует, и смех, и все плохое настроение проходит. Понятно было, что Генрих Густавович в его удивительно таком зыбком, эмоциональном на все настроении, в его моментальной реакции на события, а событий плохих было достаточно, вот такая атмосфера дома: «Гарри, все будет где-то хорошо!»

Арест Нейгауза

Между прочим, когда Генриха Густавовича арестовали, мы все были уверены, что это конец. Только тетя Милица говорила: «Ах, что вы говорите! Гарри вернется!» Он таки вернулся. И Генрих Густавович мне говорил: «Ты представляешь, она не удивилась! Она страшно обрадовалась, но она не удивилась, что это чудо». Его через девять месяцев отпустили.

Д. С.: А его в 41-м арестовали, да?

В. П.: Его арестовали 3 ноября 41-го года, когда немцы подходили к Москве. Она: «Ах, Гарри, замечательно! Какое счастье, вернулся». Но она единственная, кто не удивился. «Я, — говорит, — тебя ждала все время. Вот видишь, Гарри, а ты говоришь, что розовые очки...»

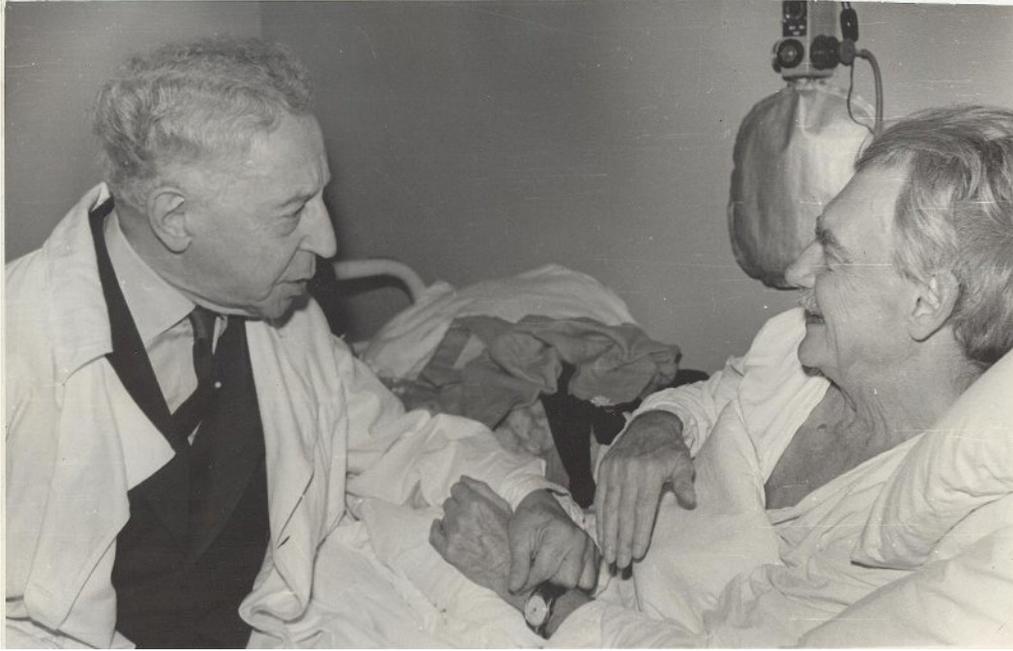
Д. С.: А он в тюрьме был или в ссылке?

В. П.: Нет, он был в тюрьме, а потом его направили в Новосибирск. Его ученики отстояли, чтобы был... Или в Свердловске он жил, в Свердловске. Он там в консерватории даже работал. То есть в такую ссылку из Москвы удалили до окончания войны почти. Нет, в 44-м он уже вернулся, по-моему, хотя я могу годы путать. Но из тюрьмы, с Лубянки Генрих Густавович...

Смерть Нейгауза

Д. С.: А умер Генрих Густавович в каком году?

В. П.: В 64-м году. 10 октября, как раз был переворот с Хрущевым, и умер Генрих Густавович. Хотя я даты плохо помню, а тут точно. Он умер от инфаркта, причем он лежал в отдельной палате у Вишневого в клинике. Врачи приняли инфаркт, что часто бывает с самыми опытными даже, за желудочное что-то, стали делать ему какие-то промывания, совершенно не нужно это было. Уже третий инфаркт, что ли, и он скончался. И там последние фотографии с Рубинштейном. Господи, за три дня до смерти! С каким восторгом он обсуждает какое-то музыкальное произведение! Когда он очень был возбужден и счастлив, у него на глазах слезы просто были. Они сидят, тот сидит рядом с ним. Я вам покажу потом фотографию, где-то она лежит. Генрих Густавович в постели за три дня до смерти, и для него счастье вот обсудить, они вспоминают молодость. Они были дружны в молодости, Артур Рубинштейн и он. Как изумительно играл тот и такие...



Пианисты Артур Рубинштейн и Генрих Нейгауз. Москва, 1964. Источник фото: russiainphoto.ru

О художественных и музыкальных предпочтениях Нейгауза

Д. С.: Вера Ивановна, вот вы рассказывали его восприятие музыки. Интересно, какая ему живопись нравилась, вы не знаете?

В. П.: Что? Живопись?

Д. С.: Да.

В. П.: Вся, удивительно широкий взгляд на это был.

Д. С.: Да?

В. П.: Например, как и в музыке. Генрих Густавович говорил: «Я люблю хорошую музыку». То есть для него, допустим, Шостакович рядом шел с Рахманиновым. В то время как, — я помню этот их спор с Габричевским, — Габричевский совершенно не признавал Рахманинова и смеялся просто, а обожал Шостаковича. Генрих Густавович его убеждал: «Как ты не понимаешь?» Причем эти споры совершенно без злобы на личности. Он говорил: «Саша, тебя снобит, — от сноба. — Снобит! Как ты не понимаешь, что Рахманинов это то-то, то-то, — начинал наигрывать, — это потрясающе найдено! И полька его, которую ты считаешь пошлой, изумительна, потому что она передает то-то и то-то. Какой-то шарм в этом». И он начинал страшно убедительно уговаривать. Так же и в живописи было. Конечно, для него итальянское искусство было, пожалуй... Он уже очень много жил в Италии: во Флоренции, в Венеции. Для него произведения Раннего и Позднего Возрождения были действительно... Это совершенно не значит... Он ужасно любил импрессионистов. Он восхищался нашими художниками. Я помню, с Фальком...

Д. С.: С Фальком...

В. П.: Очень любил Фалька. И они с Фальком соглашались на том, что замечательные старинные наши русские художники. Ведь Фальк высоко чтит Левицкого, Боровиковского, Рокотова. Они с Генрихом Густавовичем это как раз обсуждали. Причем Генрих Густавович такую эрудицию проявлял в знании и классической иностранной живописи, итальянской в особенности и немецкой. Он говорил: «Ну, слушайте, вот это же Босх!» — говоря про какое-то явление страшное. «Вот это же персонажи Босха...» Или вот где-то говорил: «Ну, это Питер Брейгель, смотрите, такая-то картина...»

Дружба Нейгауза и Пастернака

Ассоциации были абсолютные всегда и с живописью, и со словом. Стихов знал массы, любил слово ужасно! Цитировал всегда Гёте по-немецки, конечно, и Пастернака. Вот все то, что и я вам сейчас говорила, это тоже через Генриха Густавовича. «Помнишь, — говорит, — как это? Или вот как это?» Он очень любил самого Пастернака. Пастернак же ему посвятил вот это:

«Вам в дар баллада эта, Гарри.

Воображенья произвол.

Запомню все, не разбазарю:

Пожар полночных маттиол,

Грозу и парк на крутояре.

Недвижный Днепр, ночной подол...»

Это вот Генриху Густавовичу «Вам в дар баллада эта, Гарри». Вот тоже какой образ, вот как ждут:

«Поток зарниц, гроза в разгаре,

Недвижный Днепр, ночной подол.

„Пришел“, — летит от пары к паре,

„Пришел“, — стволу лепечет ствол.

Потоп зарниц, гроза в разгаре.

Недвижный Днепр, ночной подол.

Удар, другой, пассаж, — и сразу

В шаров молочный ореол

Шопена траурная фраза

Вплывает, как больной орел»¹⁰.

¹⁰ «Баллада» Бориса Пастернака, написанная в 1930 г.

Такие образы. И вот дальше он кончает: «Вам в дар баллада эта, Гарри». Это была дружба двух людей, абсолютно понимающих друг друга. Их дружбу никакие личные отношения не могли разбить, и для него всегда Борис... Ну, какой-то промежуток времени, очевидно, они не виделись, наверно. Но потом это было... Как говорил так вот знавший Зинаиду Николаевну, что все-таки она всю жизнь любила Генриха Густавовича. Что странно было. Очень она музыкант сама была. Она же была пианисткой, была его ученицей. Как Генрих Густавович говорил: «Ну, она была моя ученица в Киеве. Ну, потом она заболела скарлатиной, я за ней ухаживал. Ну, как же? Потом я заболел скарлатиной, она за мной ухаживала. А потом родился Адик. Когда родился Адик, мы, конечно, поженились». Вот в таком смысле.



Генрих Нейгауз с женой Зинаидой Николаевной, родителями, Марией и Дорой Пшишиховскими

Генрих Нейгауз с первой женой Зинаидой Николаевной и родителями. Источник фото: notkinastya.ru

Квартира Нейгауза и его гости

Д. С.: У них ведь много всегда народа было, да?

В. П.: У Генриха Густавовича? Бесконечно! То есть такой широты и гостеприимства дом был, что домработница, которая нанималась к профессору Нейгаузу, увидев, что и мы-то все грешные, тогда студенты, допущенные, тоже ютимся где-то там, значит, и профессора консерватории... Шебалин, кстати, часто бывал. Пастернак, Фальк. И до полуночи там. Кто заснул, кто ушел. Она так: «И это квартира профессора Нейгауза!» И тут собака тоже спит. Милка обиделась, что я где-то сказала,

что Рихтер Свет спал под роялем. Да, у него был диван, конечно, но когда столько гостей, хорошо помню, как Свет спал под роялем. Тут же был Габричевский, потому что метро уже не действовало, машин тогда не было. Как это машина? И вот два-три там человека. «И это квартира?..»

Д. С.: И вы часто у них бывали, да?

В. П.: Да, довольно часто, потому что я с тетей Милицей была очень дружна.

(После перерыва запись начинается с полуслова)

И начинали там дети... Ну, Милке — одиннадцать лет, Славе — двадцать три, мне — двадцать один или двадцать, да. И вот все мы, Толя, шарады. Собака тут же прыгает, Альма.

Д. С.: А квартира у них большая была?

В. П.: Ну, четыре было комнаты, но одну они разделили, наоборот, сняли перегородку, чтобы получился большой кабинет Генриху Густавовичу. Там стояло два рояля и диван, на котором Святослав спал. Вторая комната была спальня тети Милицы и Генриха Густавовича, она же была столовая. И третья комната, где жили бабушка и Мила. И жил иногда там племянник тети Милицы, Сережа, который воспитывался. Он ей был как сын. Она его страшно любила. Часто этот племянник, когда долго засиживались гости, приходил, а у него матрас, надо было тащить. Такой спокойный малый Сережка. Значит, подходит (ужас какой-то), сидит Генрих Густавович на диване и вдруг соскакивает, потому что Воробей (так назывался Сережа) спокойно удаляется, таща матрас, который он вытащил из-под него, потому что ему надо укладываться. «Черт знает что! Сергей, опять ты?» — садится, продолжает речь с кем-то из своих. Это был такой вроде малый прием, а когда много народа уж очень, Сергею и не пробраться было. Тут вот засиделся, ему хотелось лечь уже, забыл раньше вытащить матрас, и раз — выдернул и пошел!

Так же как мы Святослава там... Позднее уже утро. Святославу надо куда-то идти. «Да разбудите его!» А как? Не можем. Тетя Милица говорит: «Славу побуди!» — «Сейчас. Не можете разбудить, что ли?» Мы говорим: «Да нет, будим, а он все спит и спит». — «Сейчас».

” Этот так подошел, поднял ногу и приставил свой валенок ему к лицу. Несчастный Святослав проснулся, зачихал. А у Воробья уже был наготове стакан с холодной водой, он в него плеснул сразу водой. Тот заорал, вскочил, а Воробей убежал. Он побежал его бить, не догнал. Так разбудил его.

Совершенно спокойно: «Сейчас я его разбужу». Раз, значит, валенком так... Вот такие были тоже нравы.

Вместе с тем была эта непрерывная жизнь, которую домработницы не выдерживали. Тогда приходилось тете Милице и нам всем... Ты говоришь, почему вот этому-то... Ну, иногда тоже что-то такое принести, или скажут... Конечно, бегали — Толя, или я, или кто-то еще, потому что молодежь там очень поощрялась. Понимаешь? И поэтому это не было: профессура вот сидит, и все.

Д. С.: А из профессуры кто был, не помните?

В. П.: Шебалин часто бывал, в очень хороших отношениях с ним. Был такой Зубов, кажется. Да, философ Асмус очень часто.

Д. С.: Асмус тоже был?

В. П.: Да, это был приятель Генриха Густавовича. Он какой-то мрачноватый был, правда, он всегда был страшно подавлен своей женой, такой железной женщиной. Когда она умерла, он женился. У него сразу пошли дети один за другим. Ирина Сергеевна была такая суровая женщина, по-моему.

Д. С.: А Борисовских не помните там?

В. П.: Борисовских? Возможно, да, кажется так. Но из постоянных могу сказать, что, конечно, Габричевский, это уже просто был такой друг. Пастернак, который не так уж часто бывал. Они же жили на даче. Пастернак всегда это так... Зубов. Асмус. Фальк вот так вот тоже приходил. Ну и потом было, конечно, очень много людей, которых я... Мясковский как-то был. Но вот из таких, которые по приглашению уже были или после каких-то концертов удачных бывали. Приезжие были. Была Марина Цветаева. Я ее не видела, к сожалению.

Д. С.: Марина Цветаева?

В. П.: Да, в гостях у Генриха Густавовича была. Когда она в каком-то промежутке была здесь, я уезжала, только слышала от Генриха Густавовича. Генрих Густавович говорил: «Царственная речь! Царственная речь! Замечательная!» Конечно, я как-нибудь уж захотела бы ее увидеть, пробралась бы, но я не была в Москве. Вот тогда он виделся, вот была у них Цветаева. То есть были такие...



Борис Пастернак и Александр Габричевский. 1951. Источник фото: pasternak-trust.org

Чтение Пастернаком романа «Доктор Живаго»

Взял меня Генрих Густавович на чтения Борисом Леонидовичем в Замоскворечье.

Д. С.: Это когда читал Пастернак, да?

В. П.: Пастернак читал.

Д. С.: А что он, «Живаго?»

В. П.: Читал «Доктора Живаго». Читал он этому прекрасному, который... Потом-то клеймили они его. Какой-то журнал это был? Как называется? «Советская литература», что ли? Журнал, в котором обычно печатались. Там были представители редакции. Там же была Ахматова, приехала. Я первый и последний раз в жизни ее видела.

Д. С.: А вы?..

В. П.: Да, она удивительно естественна и вместе с тем величественна. Природное величие такое естественное, как кто-то правильно сказал. На ней было темно-коричневое платье и белая шелковая шаль. Когда что-то ей показалось, дует, что ли, она как-то слегка это, несколько человек сразу бросились к двери смотреть. Держалась совершенно естественно, удивительно просто. Ей очень понравились эти первые главы. Значит, это было, я вам скажу, наверно, начало 49-го года или 48-й. Меня арестовали в 50-м.

Д. С.: То есть незадолго до вашего?..

В. П.: И прекрасным образом читал он эти... Они все страшно одобрили: вот этот поезд идет, потом маленький Живаго, который плачет там в этой... Еще снег на капустных листьях где-то там лежит, и он смотрит, а поезд остановился, помнишь?

Д. С.: Ага.

В. П.: И вот потом сцена: «Свеча горела на столе, свеча горела...» Эти главы были уже готовы до 50-го года, и очень одобрены нашими этими... Как же назывался этот журнал-то? Не «Знамя», а что-то в этом роде.

Д. С.: «Звезда»?

В. П.: А Твардовский в каком был?

Д. С.: «Новый мир».

В. П.: «Новый мир», конечно. «Новый мир», по-моему, там был, но еще Твардовского не было. Вот тут, Митя, боюсь это утверждать. Но там были четверо человек из редакции журнала одного и другого, которые собирались это печатать. По каким-то данным можно восстановить, какой журнал собирался печатать¹¹.

Д. С.: Про Бориса Леонидовича тут, наверно, уж известно-переизвестно.

¹¹ Борис Пастернак весной 1956 года предложил рукопись романа журналам «Новый мир» и «Знамя» и альманаху «Литературная Москва».

Ольга Ивинская

В. П.: Конечно. И там была (я ее видела тоже в первый раз) вот эта симпатия и возлюбленная Пастернака — Ивинская, которая была такая, знаете, нэпмановская барышня, блондиночка с такой стрижечкой, страшно жеманная, тогда еще не растолстевшая. Еще романа, очевидно, не было, но она подседа к Борису Леонидовичу и так вот на него смотрела, пожирала его глазами, восхищалась каждым его словом. Это было неприятно очень. А Генрих Густавович сидел напротив. Когда уже уходили, уехала Ахматова... Нет, Ахматова оставалась, она жила там. Это было (вы знаете, наверно, у кого) у Ардовых.

Д. С.: А, на Ордынке, да?

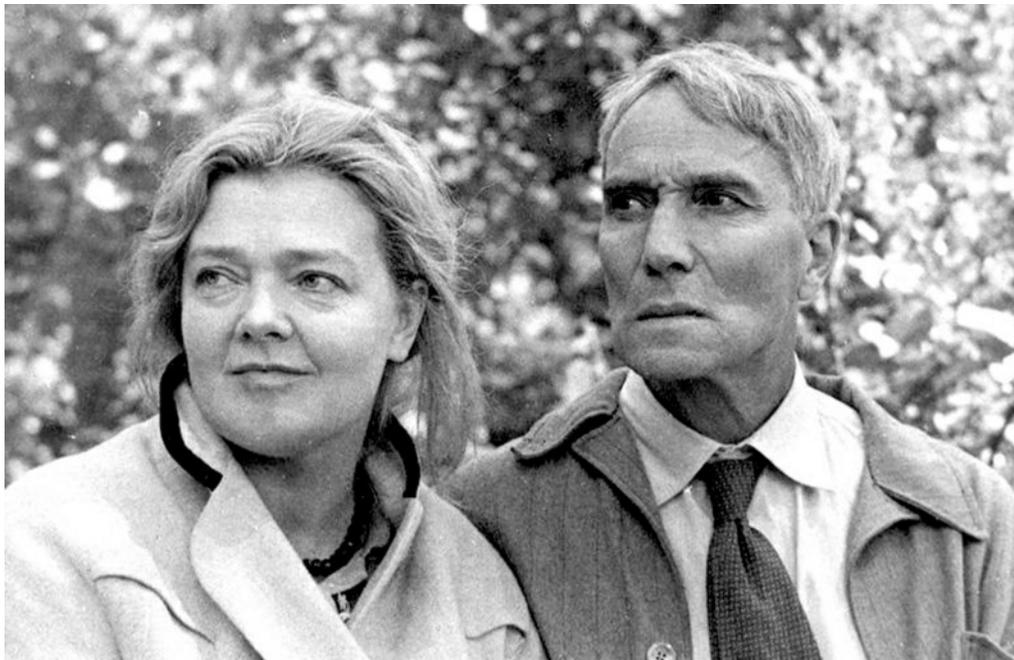
В. П.: Да, на Ордынке. Мы уходили, Борис Леонидович ушел, и Генрих Густавович вот...

Д. С.: Так он читал у Ардовых, да?

В. П.: У Ардовых читал главы первые.

Д. С.: Ах, вот как! Так понятно, почему там была Ахматова, действительно.

В. П.: Вот. И мы уходили. Генрих Густавович говорит: «Боря, пойдем сейчас к нам? Ты давно что-то не был». А эта так прижалась: «Борис Леонидович!..» И Борис Леонидович, видно, уже влюблен был. Генрих Густавович говорит: «Ну что ж, я вижу, здесь есть магниты посильнее». И мы поехали. Вот это начинался роман.



Ольга Ивинская и Борис Пастернак

И это наглость ее была абсолютная — говорить, что она героиня «Доктора Живаго», Лара. Это абсолютная выдумка, потому что Лара существовала уже тогда как героиня. Я собственными ушами слышала эту главу, то есть «Свеча горела на столе, свеча горела», когда Лара, помните, стреляет. Эта сцена была последней, которую зачитывал Борис Леонидович, наверное, в 48-м, но до моего ареста и до ареста Ивинской. Ее арестовали до меня еще, наверное.

Д. С.: Арестовали ее?

В. П.: Она арестована была, но совсем не по делу Пастернака, а по каким-то своим делишкам в редакции, где она работала. Он считал, что она там несчастная, и писал без конца о ней. И после этого, когда ее раньше освободили из лагеря, где она себя вела крайне недостойно, хоть она и...

Д. С.: Да?

В. П.: Да. Ивинская? Ужасно! Она и там была. Когда она вернулась, ее просили передавать посылки, она их не посылала, а использовала. Это был известно. Кстати, полное разоблачение...

Д. С.: Кому посылать?

В. П.: Посылать в лагерь посылки. Обращались к Ивинской с просьбой, поскольку она знала там людей. Ивинская в лагере сидела, но ее освободили раньше. Потом она как-то обещала, помогала людям знакомым, якобы помогала посылать посылки в лагерь. Родные приносили, а Ивинская их не посылала. Потом это обнаружилось. Об этом очень сурово написала Чуковская. Кстати, Ахматова сказала ей: «Вы должны об этом сказать Борису!» Та говорит: «Я не могу, ему это будет ужасно, и потом он ей все равно поверит». Ахматова была в бешенстве. Она сказала «Вы должны, это безнравственно, он не должен быть с такой женщиной!» Хотя Чуковская была человек абсолютно смелый и суровый, она в своих воспоминаниях пишет, что не могла это сделать просто из-за того, что ей жалко было Бориса Леонидовича. Конечно, Ивинская бы рыдала и кричала, что ее оклеветали, и он бы, желая ей верить, ей поверил, а вместе с тем он бы очень страдал. Так что это фигура крайне непривлекательная. Но то, что она там сидела, она действительно... Кстати, я вошла в ту же камеру, из которой ее только что вывели.

Д. С.: Да?

В. П.: Да. Мне сказали: «Здесь была жена Пастернака». Я говорю: «Жена Пастернака? Зинаида Николаевна? Ее арестовали?» Мне говорят: «Какая Зинаида Николаевна?» Как ее звали-то, эту самую, Ивинскую? «Ивинская!»

Д. С.: Ивинская?

В. П.: Ивинская. Я говорю: «Ивинская? Я ее знала. Она никогда в жизни его женой не была!» Она в камере рассказывала,

что она жена Пастернака, что у них двое детей. У нее было двое детей, но от ее мужа какого-то, с которым она разведена была. И она говорила о том, как они жили на даче. То есть совершенно создала вот такую жизнь с ним. Я говорю: «Как? Зинаиду Николаевну арестовали?» Зина была абсолютно, надо сказать, когда...

Д. С.: Ну, такие всегда появляются.

О последних днях Пастернака

В. П.: Когда травили Пастернака, конечно, у нее была безумная надежда уехать за границу, это ясно. Когда вот была такая травля, Бориса Леонидовича хотели выслать, а он написал письмо здесь. Он как раз находился между двух огней. Ивинская отвозила это письмо, она сразу была с ним, но Зинаида сказала твердо: «Как хочешь, уезжай. Лёничка (сын уже взрослый) и я остаемся в России. Я не хочу уезжать». И он не хотел. Помните, он написал это письмо, что «я все-таки кое-что сделал для моей...» Он жить без России тоже не мог. И тогда вот эта связь с Ивинской продолжалась, конечно. Она где-то сняла комнату в деревне, или дом ей снимал, не знаю. Он встречался, ходил к ней, но когда уже он заболел...

Надо сказать, что Зинаида страшно преданно за ним ухаживала. Она ему сказала: «Боря, хочешь...» Это со слов ее невестки, которая ее терпеть не могла, Галя Нейгауз, жена Стасика. Зинаида Николаевна спросила Бориса Леонидовича: «Хочешь, чтобы из деревни к тебе пришли? Я уеду пока в Москву». Он сказал: «Не надо, сейчас уже все это ненужно». И опять слухи, что Зинаида не пустила. Это неправда. Просто он уже считал свою жизнь такую законченной и не пожелал никого видеть.

Зинаида за ним ухаживала до последнего дня страшно преданно. Ну, она была такой вот, знаете, суровой, но человек долга. Конечно, со своей невесткой они были на ножах, вот с этой Галиной, но Галя сказала, что она исполнила все. Она боялась советской власти ужасно, да еще Хрущев безбожник был, еще похороны Пастернака. Тогда это было так, но Борис Леонидович завещал отпевать. Его отпевали, все было по православному обряду, и похоронили его...



Вдова Зинаида Николаевна и сын Леонид у гроба Бориса Пастернака. 2 июня 1960. Источник фото:pasternak-trust.org

Похороны Пастернака

Д. С.: А вы были на похоронах, да?

В. П.: Я на похоронах была. Огромное количество народа было.

Д. С.: Где его отпевали?

В. П.: Его отпевали дома, а хоронили в Переделкине. Рядом с церковью его могила. Играл Рихтер все время.

Д. С.: Да?

В. П.: Да, играл. Как очень неудачно Галич написал: «Играли лабухи». Лабухов никаких там не было, это играли Юдина и Рихтер.

Д. С.: Юдина всюду играла на похоронах.

В. П.: Да. Лезли в окно, снимали, а Рихтер совершенно не обращал внимания. Он играл, играл, играл. И Юдина. Огромная толпа народа была, но очень многие писатели побоялись приехать. Я помню Паустовского. Пожалуй, вот от Юры Нагибина (Юра был болен тогда) его очень <нрзб>... Мы, кстати, приехали на машине с ним туда. Стояли машины, машины. Очень много людей, но просто я их не знала никого, потому что я же так не бывала. Конечно, Генрих Густавович.

Все это ужасно было просто. Был чудный солнечный день. Правильно кто-то сказал: «Как будто все цветы на свете навстречу этой смерти расцвели»¹². Как-то одновременно и сирень цвела, и черемуха, и жасмин. Все было в цветах. Солнечный день. Его хоронили, на руках несли из дома до кладбища. Когда хоронили, я помню открытый гроб, уже его закрывать должны были, как-то приподняли на руках, и так солнце прямо его осветило. Потом закрыли. Асмус говорил на его могиле, потом говорили многие. Ивинская была. Ольгой ее звали. Она была там, но она была около дома, так очень сидела... Как будто бы накануне она приходила проститься. Зинаида уходила. Я не знаю об этом подробности. Вот это были похороны Пастернака.

¹² Из стихотворения Анны Ахматовой «Смерть поэта».
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.



Похороны Бориса Пастернака. Переделкино, 2 июня 1960

Святослав Рихтер

Д. С.: Понятно. Вера Ивановна, а почему Свет (так его звали), почему он жил у Нейгауза? Он же совсем мальчиком, так сказать, молодым человеком приехал к ним?

В. П.: Ну да. Потому и жил, что в общежитии ему как-то не хотелось. Генрих Густавович его очень любил, и он у него...

Д. С.: Просто он его так принял в семью?

В. П.: Конечно. И Толя Ведерников сначала жил.

Д. С.: Да?

В. П.: Ну, Свет какое-то время у Толи жил, потом у знакомых, а когда Генриха Густавовича арестовали, он его...

Д. С.: А он из Одессы ведь был, да?

В. П.: Он из Одессы, да. Между прочим, даже вот у нас он жил. Уже началась война, потому что охотились за Генрихом Густавовичем. После того как арестовали Генриха Густавовича, мы считали, что небезопасно ему там жить, тем более они за ним приходили. Повестку хотели выслать, но повестка была на Лихтера, а Свет сказал: «Какой? Я не Лихтер, а Рихтер», — ну и пошел. И вот тогда мама моя и тетя Милица решили. А у нас освободилась комната стараниями КГБ в общей квартире: дядю арестовали и моего двоюродного брата. И в квартире была комната. Свет жил четыре года во время войны.

Д. С.: Всю войну жил?

В. П.: Да, конечно. Уже после ареста Генриха Густавовича. У нас же порядка нет, сначала не выслали, потом это все...

Д. С.: Не, ну это знали...

В. П.: А потом уже стал играть, и все уже... Потом как-то уже не охотились. Охотились, наблюдали за ним иногда, вспышки такие были. В общем, не арестовывали, как вы знаете. И так считали просто вредным элементом, за которым иногда надо было следить. В особенности к концу войны, когда выяснилось, что мать его ушла с немцами, конечно, они следили.



Святослав Рихтер. Источник фото: diletant.media

О родителях Рихтера

Д. С.: А его мать с немцами ушла?

В. П.: Да, мать ушла с немцами. В этом была его страшная трагедия.

Д. С.: А отец жив был?

В. П.: Отца расстреляли, в том-то и дело. Вы фильм не видели о Рихтере? Там впервые он говорит о том, что, конечно, было ужасно. Мать его, которую он страшно любил, была для него и подруга. Она молодая была женщина, когда он родился, двадцать два года. Я ее видела. Она приезжала, еще когда Светик жил у Генриха Густавовича. Темно-рыжие волосы, и Свет тоже был темно-рыжий, с такой шапкой волос. И вот эта Анна Павловна была веселая, очаровательная женщина. Они были как брат и сестра. Всюду: и в шарадах она, и какие-то разговоры, и экскурсии, и прогулки — все с молодежью абсолютно. Ну, какая-то разница была в двадцать лет. А Свет — в нее. Причем она как-то и музыкантша сама, она пианистка. Вместе с тем она удивительно умела все делать: и шила, и вышивала, и готовила. Удивительно хорошо умела красиво сделать там, где ни о какой красоте речи не могло быть, понимаете? Квартиру как-то уютно. У них по вечерам всегда были шарады. Хотя были голодные времена, она из ничего что-то умела делать.

Отец был на двадцать лет с лишним старше матери. Он был когда-то органист и пианист, прекрасный композитор. Он немец был. Мать — чисто русская, Москалёва. Хотя была такая тяжелая материально жизнь в Одессе, все-таки для Святослава это было всегда удивительно светлым и романтическим периодом из-за друзей, которые приходили, из-за шарад, из-за матери! Мать была центром этого. Вот работает целый день, она могла шить платье, как портниха работала, настолько хорошо могла делать. А потом, хоть устала, так сбросит фартук и говорит: «Ну а теперь все, теперь будем веселиться!» Вот шарады, приходят гости. И вот на этом его артистическая-то натура целиком здесь расцвел. Мать для него была просто образцом и в искусстве, и в жизни, и в материальном даже плане, что она все умела делать.



Святослав Рихтер с родителями Анной Павловной и Теофилом Даниловичем

Он моей сестре всегда говорил: «Слушай, Люб, вот мама приедет, так она тебя научит пироги делать». «Вот мама приедет, она...» — у него была присказка ко всему. А в результате получилось так, что у матери оказался долго длившийся роман с неким Кондратьевым, который был совсем не Кондратьев, а замаскированный немец с фамилией чуть ли не Бенкендорф или Тейзенгаузен. Ему помогли замаскироваться когда-то Нежданова и Голованов, с которыми он был как музыкант. Он музыкант был, теоретик. Он был под чужой фамилией Кондратьев, с чисто русским [именем] — как его, Сергей Дмитриевич. Часто писал статейки про музыку. Кстати, Святослав уверял, что он видел на его столе черновик этой страшной статьи о Шостаковиче «Сумбур вместо музыки».

Д. С.: Да?

В. П.: Да, как черновик, но он уже потом... Святослав его очень не любил. Святослав — человек невероятной интуиции. Он говорил: «Ты понимаешь, я ничего против него сказать не могу. Он очень мне помогает, вот он музыку, он теоретик великолепный, он сольфеджио мне. Я знаю, что он дружен с моей семьей». А он считался калекой, потому что ноги у него еле-еле двигались. Он сидел почти все время на стуле, мог передвигаться только по квартире. И мать Святослава носила ему обеды, привозила, готовила обеды. Считалось, что это великий героизм матери. Он говорит: «Не выношу я этого человека!» А выяснилось потом, что когда началась...

Д. С.: Что он не калека, да?

В. П.: Да. Когда пришли немцы, он просто встал на обе ноги, стал ходить и назвался, кем он был там. Потом взял фамилию Рихтер. И все считали за границу, что это отец Рихтера, когда он был его отчимом. Чудовищно!

Д. С.: Отчимом все-таки был, да?

В. П.: Так она вышла за него замуж. Естественно, он оказался отчимом формально-то. Как называется человек, который женится на женщине, у которой сын?

Д. С.: Ну, наверно. Я просто не знал, что он женился.

В. П.: Дело в том, что из-за этого человека погиб отец Святослава, Теофил Данилович. Потому что накануне почти, за несколько дней до занятия Одессы немцами ему как профессору консерватории предлагали эвакуироваться. Но мать перевезла якобы инвалида, этого Кондратьева, к ним в дом, чтобы уже к нему не ходить, а тут бомбежки, и все. И она за несколько месяцев уже его перевезла, он жил у них. Когда предложили эвакуироваться, естественно, гражданину Кондратьеву никто не предложил эвакуироваться. Мог уехать только отец с женой. Она отказалась. Святослав говорил: «Предложили эвакуацию, но мама отказалась. Я думаю, что папа все понял. Папа все понял. Его арестовали и расстреляли».

Когда пришли немцы, Кондратьев преспокойно встал на две ноги, стал ходить, стал, кем он есть. Сколько-то там было времени, скажем, год или полгода, сколько там были немцы. Когда уходили немцы, конечно, он должен был уйти, это уж ясно. И она ушла с ним. Он на ней женился, но она осталась Рихтер. Он принял ее фамилию. Святослав мне говорил, когда он был в Германии и <нрзб> с матерью, и увидел на дощечке «С. Р.», то есть Святослав Рихтер, а тот был Сергей: «То мне дурно стало». Но он никогда в жизни с ним не объяснялся. Это надо быть Святославом, он замкнулся просто в себе. Для него как-то жизнь такая кончилась совершенно в смысле романтическом, и все. И как-то об обустройстве дома, нет, он совершенно... Ушел в музыку, как в монастырь, действительно.

Личная жизнь Рихтера

Д. С.: А у него супруга была?

В. П.: Была. Нина Дорлиак, очень активная женщина.

Д. С.: А, Дорлиак!

В. П.: Которая считалась... Хотя он категорически не желал ни венчаться, ни расписываться, несмотря на все ее старания. Ну, живет, пожалуйста, все. Все друзья, такое у нас у всех было впечатление, что он как-то на доме, на всем положил крест, потому что раньше были очень дружеские, даже нежные связи с семейством Геккеров. Я вам говорила по-моему, о них, в особенности с Олей. Мы как-то все считали: Светик, Оля. Это молодежь, и все музыкальные. Дружба. Ну, тогда ведь это как, какой-то там секс, об этом не говорилось. Вроде нравилась Оля. Ну вот Олечка... Мать ему сказала: «Вот на любой женись из них». Ну вот так. Их было пять человек.

Здесь как-то всякая идея дома, быта для него просто была закрыта совершенно. Когда я ему говорила: «Слушай, а почему вот так? Неужели ты не можешь?» Вот эта Нина своего ужасного племянника, которого она сама, собственно, таким сделала. Совершенно бездарный молодой человек, которого она толкала сначала в актеры, поскольку ее брат был актером. Брат умер, пил очень. И Митюля с пятнадцати лет пил, потому что все ему дозволено было. Ему было все дозволено, она его обожала. Всячески старалась его в актеры продвинуть, но дальше статиста он не пошел. Где-то ему случайно выпала какая-то одна или две роли, но так вот, ну никак, никак. Это была вечная трагедия, потому что этот пил, видя талант Святослава. Он это очень переживал. Нина говорила Славе: «Славочка, мальчику не повезло. Вам повезло, а мальчику не повезло!» И центром всей ее жизни эмоциональной и любви, конечно, был Митя. «Митя это! Но он неудачник, он такой талант, но никто его не понял!» Несмотря на то что Нина Львовна обладала колоссальной силой и именем Рихтера несколько раз вытаскивала Митюлю из каких-то пьяных свар, даже когда он разбил машину, подрался с милиционерами, но продвинуть его в искусстве она не могла.

Д. С.: Да.

В. П.: Ну и так вот. И когда я как-то спросила: «Слушай, почему эти люди-то вокруг тебя какие-то? С Геккерами? И Толя Ведерников абсолютно как-то отошел, и все прежние друзья?» Он говорит: «Видишь, когда здесь все время Танюля (это жена Митюли, такая же, как он, пьяница и все) и Митюля, мне совершенно безразлично, кто еще. Тут мне все равно». Но музыка для него была...



Святослав Рихтер и Нина Дорлиак. Источник фото: diletant.media

Последняя встреча с Рихтером

Ну, вот это такая страничка еще. А так фильм... Все восхищаются фильмом. Наверно, он очень хорошо снят, и Святослава действительно показывают. Он сидит за столом и сам все это говорит, но это человек в период тяжелой депрессии, на чужбине, во Франции, где он очень тосковал. Я счастлива была, я об этом говорила, что видела его за три дня до смерти.

Д. С.: Да?

В. П.: Да, на даче, когда он вернулся в Россию. Он умер уже здесь. Мы встретились на даче и долго разговаривали.

Д. С.: Расскажите подробно.

В. П.: Он жил на даче на Николиной горе. Кстати, эту дачу терпеть не мог. Он обожал Тарусу. У него дом в виде башни там был срубленный. В удивительном местоположении, на высоком берегу такое бревенчатое... Я как-нибудь покажу, у меня где-то есть эта фотография. Такая в три этажа с окнами. Вот так по кругу там было. Так что вы могли видеть вид весь и на Оку, и на далекие поля, и в лес, и справа, и слева. И он обожал это место. Но Митюле, конечно, она была отвратительна — Таруса далеко от Москвы. И была куплена, или как-то, тогда на Николиной горе. Когда освобождались дачи, можно было. Опять-таки именем Рихтера Нина Львовна купила. Ну, Рихтер, считается, купил, конечно. Она потом была завещана Митюле, все это так. На Николиной горе. Он не выносил эту дачу: снобизм кругом, вот эти заборы, вот это...

Конечно, когда он приехал из-за границы, в Тарусу и все... В Тарусе типа музейкакой-то, кто-то там живет. Ну, близкий, слава богу, все-таки. Я там не была никогда после того, как Святослав там не был. Кто-то из его знакомых старых, кажется, смотрят за этой... Ну, как это назвать? Башней мы ее называли, башней. Вот, зиму и лет, кажется, там живет. Там устраиваются (не в даче, не в собственно этом доме, но в Тарусе) фестивали, и там тоже включена как-то эта башня. Я никогда туда не ездила и не поеду никогда, потому что у меня остался дивный вид с третьего этажа на все... И маленький балкончик. Как Свет говорил: «Тут можно поставить маленький столик. Двое могут водку пить на балконе и встречать зари восход». Дивный вид на Оку и на поля дальше с этого балкончика. Вот у меня осталось впечатление от этого замечательного дома, который он так любил. Но Нина Львовна даже мыслить об этом не хотела по разным причинам. Одна из них, конечно, была удаленность и неудобство для Митюли, и другие были личные причины.

Д. С.: Так последний приезд, когда вы видели, где он был?

В. П.: Он был на даче на Николиной горе. Дача, дом построенный. Ну, как вам сказать, обычная, не нуворишская дача, такой дом старый, что ли, какого-то профессора крупного. Боюсь соврать, по имени кто это был. Эта дача, как вам бы сказать, ну, дореволюционного типа: с террасой обыкновенной, дерево там, три или четыре комнаты. Может быть, вы ее вполне могли представить при Чехове. Знаете, с лампами еще и так... Ничем особенным не отличалась. Может быть, стереотипная дача, которые описывал Чехов в своих рассказах. Загородная дача на большом участке, с балконом, на котором по вечерам пили вечерний чай, сидели.

Вот на этом балконе в солнечный день, это было 21 июля. 21-е, да, за неделю до смерти. 22-го дни бомбежек были, мы со Светом вспоминали. Говорю: «Видишь, как это все было...» Говорит: «Помнишь, во время войны ночь с 21-го на 22-е? Мы на крыше были в доме Нейгаузов». Когда были бомбежки, мы залезали на крышу. Милка еще маленькая...

Д. С.: Сбрасывать зажигалки.

В. П.: Да, зажигалки. Толя Ведерников, когда бывал, и мы со Святославом. Мы вместе. Вот в какую-то из ночей Толя остался у себя дома и не мог прийти, потому что комендантский час. Ну, бомбежки, и мы полезли на крышу со Святославом. Это была ночь с 21 на 22 июля. Значит, третья ночь, вторая ночь бомбежки. Для вас-то это все равно.

Д. С.: Нет, почему все равно?

В. П.: Потому что ведь с 21 на 22 июня, когда объявлена была война, все время Левитан говорил: «Граждане, военно-воздушная тревога! Заходите в бомбоубежища!» Никто не обращал внимания, не заходил. Но ровно через месяц начались настоящие бомбежки. В первую бомбежку ночью с 21-го на 22-е или с 20-го на 21-е была Пресня, там горело все, и дом рядом с нами в Нащокинском. Во вторую ночь погиб, по моему, Вахтанговский театр, тогда в него прямое было попадание. На третью ночь была аптека. И вот это была вторая или третья ночь. Святослав удивительно смотрел на это. Он говорит: «Ой, смотри как красиво! Прожектора, как это у Вагнера „Гибель богов“, перекрещиваются какие-то, как будто какие-то бои на небе!» А они ловили в прожектора немецкий самолет, чтобы его разбить. И мы слышим вот такое вот: «У-у-у, у-у-у, у-у-у...» — нагруженный самолет летит. Потом минута молчания, и уже такое: «И-и-и-и-и!» — пронзительный свист. Это летит бомба. И Свет говорил: «Вот наш фриц!»

Ну, молодые, все равно на это смотрели как-то так. Он был абсолютно бесстрашный по природе. Он абсолютно вот так смотрел, ну вот... А потом бомбежка кончилась. Бедный Генрих Густавович и все семейство, значит, внизу, а мы — наверху, молодые. Ну, такое вот было. И он вспоминал эту ночь: «Помнишь, как это было?» Страшно жизнерадостно. «Это, — говорит, — здорово, интересно. Фриц-то в нас не попал. Все-таки вот были эти самые, только...» А мы слышали, как летели бомбы где-то там.

И потом началось какое-то воспоминание нашей молодости, шарады. Мы игрища так называемые всегда ставили. Всех с такой доброжелательностью [вспоминал]. И о Толе, которого тогда уже не было, Толя скончался раньше, Толя Ведерников, и как Толя играл. То есть он подробнейшим образом расспрашивал о моей племяннице, его крестнице, Оле: «Как Оленька? Как моя сестра Люба?» Это были близкие же все, понимаешь?

Рихтер чрезвычайно благожелательно вспоминал смешные эпизоды из наших игрищ, говорит: «Помнишь, Випа, как ты испугалась, когда я кинул в тебя партитурой вагнеровской?» Я говорю: «Испугаешься!» А мы изображали сцену. У нас немые были сцены, ну, пары разные, и мешались по пять человек. Мы изображали сцену, когда Пьер узнает об измене Элен. У них страшная сцена, он швыряет в нее чуть ли не мраморной доской.

Д. С.: Да-да.

В. П.: Так Свет в меня швырнул партитурой тяжелой. Он говорит: «Ты так естественно побежала, нагнулась...» Я говорю: «Побежишь, когда просвистит над головой вот такая штука, очень естественно». Он, увлекшись... Всегда для искусства все. Вот такие смешные эпизоды из наших этих игрищ так называемых. «Помнишь, — говорит, — ты изображала...» Он изображал русалку, а я изображала погибшего князя:

«Князь Ростислав в земле чужой

Лежит на дне речном,

Лежит в кольчуге боевой,

С изломанным мечом»¹³.

¹³ Из стихотворения А. К. Толстого «Князь Ростислав».

Значит, я в кольчуге боевой — шелковая была подкладка у какой-то куртки, я в ней. Свет изображал русалку. Он пряжу зеленую себе на голову накрутил, так вот плавно двигался и мне этим расчесывал: «И гребнем витязя волосы расчесывать златым». Какие-то такие наши сцены, очень забавные безусловно. Или как он выпрашивал у Олечки Геккер. У нее были чудные волосы, такие длинные, и изображалась у нас сцена Чайковского «Времена года» — «Подснежник». Решено было, что Оля накрыта будет простыней, и потом она хорошо так поднимала головку, волосы у нее такие, ну вот подснежник. Очень была красивая картина. И Свет выпрашивал у моей сестры белую простыню чистую. Она говорит: «Не дам тебе валять по полу простыню ни в коем случае! Возьми вот». — «Она же не свежая!» — «Это мартовский снег, когда подснежник, нечего ей быть свежей!» И сестра выдала эту простыню. Вот такие у нас были сцены.

Д. С.: А какое у него настроение было за неделю до смерти?

В. П.: Хорошее. Он мне сказал: «Ты знаешь, я думаю, еще год я не смогу выступать, но я начну играть, я все-таки здесь, ты понимаешь. Хотя я не люблю эту дачу, но все равно, посмотри, вон кошка по забору. Пойди в Германии это увидишь, чтобы они... Ну, ты не думай, она птичку не поймает». Он вспоминал Ирину Александровну, директора музея Пушкинского. Говорит: «Ну, слушай, как она спасла мои картины». Она так сделала, что Митюля, который хотел уже их продавать... А там была выставка индивидуальных коллекций. Она очень умная женщина. В общем, она устроила так, что эти картины остались в музее и Митюле не попали в лапки. Понимаешь, он вспоминал, трудно даже представить, как вот прошла галерея каких-то общих знакомых, наших встреч, наших шарад, настолько в жизнерадостно поднятом настроении, хотя он был слаб. Он сидел на кресле, но переходил. Вот обедать потом мы перешли. Нина Львовна вот так его под руку. Я говорю: «Нина, он все-таки ходит, ничего сейчас». И он сказал: «Ты знаешь, я понемножечку начну играть». Это было, значит, меньше, чем за неделю до смерти. Он умер 1-го, да.



У Святослава Рихтера в день закрытия выставки работ А. И. Трояновской. Слева направо: сидят А. Н. Кочетова, А. И. Трояновская, А. Г. Габричевский; стоят Н. Муисян, В. И. Прохорова, С. Г. Нейгауз, С. Т. Рихтер, А. В. Фальк (Шекин-Кротова). Москва, 1961 год. Источник фото: mosjour.ru

Д. С.: Отчего он умер?

В. П.: Сердце. В общем, оно совершенно все уже было расшатано. Его отвезли, он умер в больнице. А так вот оставшееся впечатление, как он просил обязательно передать привет тому, сему, еще рассказывал: «Ты понимаешь, мы ездили. За несколько дней до этого была Элисо Вирсаладзе. Ой, она привезла чудные вишни, а потом мы ездили с ней, — по-моему, еще с кем-то, — на машине по старым местам, в Звенигороде были. Вот не нашли...» В школе, где был фестиваль, а Свет очень участвовал, большое участие принимал в фестивалях, которые начались с детских фестивалей в Звенигороде, устроенные Наталией Гутман и Олегом Каганом, его ближайшими друзьями. Он их страшно любил, эта Наташа как дочь была ему, и Олега тоже, ну как дети. Он действительно их нежно, глубоко любил и просто играл с ними вместе. «Мы, — говорит, — ездили и по этим местам, ведь и Звенигород... Ты знаешь, я всю землю объехал, но все-таки красивее Тарусы и Звенигорода я ничего не знаю, не Тарусы, а вот Оки и Звенигорода, вот для меня это... Конечно, обязательно в следующий раз мы еще поедем, вот посмотрим эти места. Ты знаешь, не удалось подъехать к школе». Я говорю: «Ну как же не удалось, может,

там с другой стороны?» — «Ну, это мы сделаем в следующий раз». Ты понимаешь, настолько он был полон мыслей о будущем. Я еще помню, когда я передавала свой разговор Наташе Гутман, я говорю: «Наташа, вот запомни, он сказал: „Еще год, наверно, я не смогу играть“». Представляешь, как он смотрел в будущее? То есть это был совершенно контрастный облик с тем, который ты видишь в фильме. Поэтому мне фильм этот совершенно... Я его эмоционально не принимаю. Пусть он гениально сделан, пусть еще там что-то, но облик Святослава как человека невероятно доброжелательного, полного жизни, который реагировал с этой терраски на солнечный свет, на птичку, на кошку, на наши все воспоминания, для меня это совершенно не может увязаться с тем обликом, который был совершенно естественно заснят, но в период тяжелой депрессии. Вот. Такие впечатления.